

Залим Шибзухов

НОЧЬЮ КУХНЯ СТАНОВИТСЯ ДРУГОЙ

Психологическая драма
о возвращении к себе

Залим Шибзухов

Ночью кухня становится другой

<https://litres.ru/74211827>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ася — прекрасный архитектор, а в себе разобраться не может. Она проектирует здания, все успевает, все помнит, все планирует. Но не знает, чего хочет сама.

Однажды ночью, сидя на подоконнике в пустой кухне и глядя на свое отражение в темном стекле, Ася понимает, что ее жизнь давно ей не принадлежит. За спиной двадцать лет брака, взрослая дочь, хорошая работа, мама, требующая внимания. А внутри — пустота, в которой она потеряла собственное «Я». Благодаря психологу, Ася начинает переосмысливать свою жизнь. Она заново знакомится с собой.

Это роман-исповедь о том, как кризис среднего возраста перестает быть концом и становится началом возвращения к себе. К своей личности, которая спрятана под слоем чужих ожиданий.

Эта книга для вас, если вы чувствуете, что старые привычные роли стали тесными, и готовы, наконец, услышать голос своей собственной Личности.

Содержание

Пролог	6
Сцена 1. Утро	14
Сцена 2. Список	21
Сцена 3. Ирина	29
Сцена 4. Мама	36
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Залим Шибзухов

Ночью кухня становится другой

Залим Шибзухов

**Ночью кухня
становится другой**

Психологическая драма
о возвращении к себе

2026

УДК 2

ББК 87.77

Ш55

Шибзухов Залим Мухадинович.

Ночью кухня становится другой / З.М. Шибзухов. - 2026.

Ася — архитектор, проектирует дома. А в себе разобраться не может. Она все успевает, все помнит, все планирует. Кроме одного — она забыла, чего хочет сама.

Однажды ночью, сидя на подоконнике в пустой кухне и

глядя на свое отражение в темном стекле, Ася понимает, что ее жизнь давно ей не принадлежит. За спиной двадцать лет брака, взрослая дочь, хорошая работа, мама, требующая внимания. А внутри — пустота, в которой она потеряла собственное «Я». Благодаря психологу, Ася начинает переосмысливать свою жизнь. Она заново знакомится с собой.

Это роман-исповедь о том, как кризис среднего возраста перестает быть концом и становится началом возвращения к себе. К своей личности, которая спрятана под слоем чужих ожиданий.

Эта книга для вас, если вы чувствуете, что старые привычные роли стали тесными, и готовы, наконец, услышать голос своей собственной Личности.

Дизайн обложки выполнен с использованием ИИ

© Залим Мухадинович Шибзухов, 2026

Пролог

Н



очью кухня становится другой. Она не похожа на ту шумную, заполненную голосами и запахами комнату, которая встречает меня днем. Когда на холодильнике висят бесконечные списки, а в кружке Саши недопитый чай остывает до комнатной температуры. Я хожу между столом и плитой, примеряя на себя роли матери, жены, хозяйки — человека, который должен решить, что приготовить на ужин и не забыть купить хлеба.

Ночью, когда все наконец замолкают и расходятся по своим комнатам, эта кухня пустеет, выстывает, перестает быть местом быта. Она становится чем-то вроде зеркала, в котором я смотрю в себя — в глубину, которую обычно прячу под слоями обязательств, списков дел и вечной усталости.

Сегодня я, как и много раз до этого, не спала, и где-то в третьем часу, когда дыхание Саши стало ровным и глубоким, а тишина в квартире сделалась такой плотной, что можно было бы резать ножом, я осторожно выбралась из-под одеяла и на цыпочках, стараясь не скрипнуть дверью, прошла на кухню. Села на подоконник, поджав под себя босые ноги. Холод от стекла медленно и верно начал проникать в спину, заставляя позвоночник ныть, но я не двигалась, потому что это холодное прикосновение хотя бы напоминало мне, что я еще жива и способна чувствовать. За окном раскинулся пустой двор с одиноким фонарем, который освещал мокрый асфальт, блестящий после недавнего дождя, где-то вда-

леке лаяла собака, в этой ночной тишине слышно было, как тикают старые часы в коридоре — мерно, неумолимо, словно отсчитывая что-то более важное, чем секунды и минуты, возможно, остаток той жизни, которую я так и не научилась проживать по-настоящему.

Я смотрю на свое отражение в темном оконном стекле и вижу лицо, которое давно перестала узнавать, будто оно принадлежит какой-то другой женщине, случайно оказавшейся в моем доме, в моем теле, в моей судьбе. Вроде бы это мои скулы, мои морщины вокруг глаз, ставшие глубже за последние пару лет, и мои седые волосы, которые я упрямо не крашу, потому что уже нет ни сил, ни желания бороться с возрастом. Но взгляд — вот что меня пугает, этот тусклый, потухший взгляд. В нем нет ни искры той Аси, которая когда-то, в молодости, смеялась на собственной свадьбе так громко, что соседи стучали по батареям, и плакала над книгой, которую дочитала в четыре утра, свято веря, что мир, как здание, можно перестроить заново — красиво, прочно, с любовью к каждой детали и с верой в то, что все получится.

Я выдыхаю, и теплый воздух касается холодного стекла, оставляя на нем маленькое мутное пятно. Оно медленно тает, и мне кажется, что вместе с этим дыханием я выпускаю из себя что-то важное, что-то, что копилось годами, но так и не нашло выхода.

Мне сорок семь, и у меня есть муж, дочь, работа, ипотека, и мать, которая звонит каждый день, чтобы напомнить о се-

бе, о своем существовании, о моей вечной неблагодарности. У меня есть список дел, никогда не кончающийся, потому что каждый вычеркнутый пункт порождает три новых, подобно гидре, о которой я читала в детстве в книжке по мифологии¹. Моя усталость стала моим вторым именем, моим постоянным спутником, моей тенью, которая не отстает ни на шаг, даже когда я сплю или принимаю душ.

Однако у меня нет ответа на один единственный, самый главный вопрос, который я боюсь задавать себе днем, когда слишком много шума и голосов. Он приходит ночью, когда я остаюсь одна в этой пустой кухне. Кто я, когда все уходят? Когда Саша на своей работе, а Алиса — в своем городе, где у нее теперь своя жизнь, в которую я не могу войти без приглашения. Когда мама не звонит, и я не слышу ее требовательного голоса. Когда в офисе тишина, и начальник не требует отчет, и коллеги не просят помощи. Когда я не обязана ничего решать, не должна быть сильной, не должна улыбаться, не должна играть ни одну из своих бесконечных ролей. Вместо ответа внутри меня тоже возникает тишина. И это не благословенный покой, о котором мечтают уставшие люди, а пустота, зияющая и холодная, как комната, где только что шумно веселились гости, а теперь они ушли, забрав с собой смех, споры, тепло своих тел и голосов, и остался лишь вы-

¹ Миф о гидре, у которой отрастает голова, связан с Лернейской гидрой из древнегреческой мифологии. Это чудовище обладало способностью к регенерации, на месте отрубленной головы вырастали две, а иногда и больше новых.

топтаный пол да мое отражение в темном окне, смотрящее на меня с немим укором.

Я когда-то думала, что кризис среднего возраста подобен гриппу — переболеешь, отлежишься, и дальше пойдешь, как ни в чем не бывало. Но он не проходит, этот кризис, он лишь меняет одежду, как опытный актер за кулисами, готовясь к новому спектаклю. Сегодня он выходит на сцену в костюме усталости, завтра — в маске злости, послезавтра — в плаще бессмысленности, а иногда, в особенно коварные дни, он надевает личину спокойствия, и тогда я обманываю себя, верю, что все наладилось, что я выкарабкалась, что страшное позади, а потом просыпаюсь в три ночи, сажусь на этот холодный подоконник и смотрю в окно, понимая, что ничего не изменилось, просто кризис затаился, набираясь сил для нового удара.

Говорят, что женщины в среднем возрасте становятся невидимками для мира, что их перестают замечать на улицах, в транспорте, в собственных семьях. Я не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что проблема не в том, что нас не видят другие, а в том, что мы сами себя перестаем видеть. Слишком долго мы смотрели на других — на мужей, на детей, на родителей, на начальников, на подруг, — а на себя у нас не осталось ни времени, ни привычки, ни даже обычного любопытства. И теперь, когда я пытаюсь разглядеть себя в этом темном окне, я вижу чужую, уставшую, потерянную женщину, которую когда-то знала, но забыла, как ее зовут.

Я кладу ладонь на холодное стекло, прямо на отражение своей щеки, и чувствую, как пальцы немеют, и этот холод кажется мне почти ласковым, почти утешающим, потому что он хотя бы честен — он искренний, в нем нет притворства, нет обязанности быть хорошей, нет списка дел, который душит своей бесконечностью.

— Ты здесь? — шепчу я, почти беззвучно, и голос мой кажется таким тонким и слабым, что я сама едва слышу его.

Никто не отвечает, и тишина сгущается, становясь почти осязаемой. Часы в коридоре продолжают тикать, отмеряя время, которое я, кажется, трачу не на жизнь, а на что-то другое, на что-то, у чего нет названия, но есть глубокое ощущение какой-то гнетущей, тягостной потери.

Наконец я отрываю ладонь от стекла, слезаю с подоконника и на ватных, почти не слушающихся ногах иду в спальню, стараясь ступать бесшумно, чтобы не разбудить Сашу. Ложусь рядом, укрываюсь одеялом, которое уже успело остыть без меня, и чувствую, как он поворачивается во сне, как его рука находит мое плечо, ложится на него тяжело и тепло. Это тепло — единственное, что согревает меня сейчас, потому что внутри я давно замерзла, до самых костей, до самых потаенных уголков души, где когда-то жила надежда.

Он рядом, он дышит, он не знает, что совсем близко от него, на этой же постели, под одним одеялом я медленно, по кусочкам, по каплям теряю себя. Это не случается в одночасье, сегодня, вдруг, как инсульт или инфаркт. Это тя-

нется годами, десятилетиями, начинается с мелочей — с того, что сначала отдаешь свой голос чужим мнениям, потому что так спокойнее, потом желания — обязательствам, потому что так правильнее, а потом время — бесконечным ролям, потому что так привычнее, чем быть собой. И вот однажды просыпаешься в три ночи, садишься на подоконник и понимаешь, что внутри тебя пустота, как комната после гостей, пустая, выстуженная, в которой не осталось ничего, кроме отражения в темном окне и тиканья старых часов.

Я учусь в этой комнате жить. Пока не умею, пока спотыкаюсь, падаю, замираю от страха и холода. Но я учусь. Кажется, другого выхода у меня нет.

Сцена 1. Утро

Б



удильник орет полседьмого, и этот звук врывается в сон, как чужой, непрощенный гость. Он ломится в дверь, не дождавшись ответа. Я уже давно не помню того утра, когда проснулась без него — от света, от пения птиц или от того странного, захватывающего чувства, что сегодня случится что-то хорошее. Нет, теперь мое утро начинается именно так — резкий, противный звонок, и рука сама тянется на тумбочку, чтобы нажать «отложить», выиграть себе еще пять минут этой тягучей, полусонной неги, когда тело еще

помнит тепло одеяла, а голова не включилась в бесконечную гонку за ускользающей жизнью.

Я лежу, и мне кажется, что веки налиты свинцом, а в каждой мышце поселилась какая-то вязкая, тяжелая усталость, будто я всю ночь таскала мешки с цементом. Глаза слипаются, и я готова провалиться обратно в сон, но где-то в затылке уже начинает жужжать знакомый голос: «вставай, надо, ты не можешь лежать вечно». Я замираю на минуту, слыша, как за стеной шуршит Саша — он всегда поднимается раньше, ходит по коридору, шаркает тапочками, кашляет, открывает кран, и эти привычные звуки, такие домашние, почти уютные, почему-то не радуют, а напоминают о том, что жизнь идет по расписанию, и я — лишь строчка в этом расписании.

Скоро он войдет и спросит: «Ась, кофе?» — и я отвечу «да», хотя на самом деле мне хочется лежать, уткнувшись носом в подушку, и чтобы никто ко мне не прикасался, не говорил, не требовал. Но я, конечно, не скажу этого. Я встану, потому что так надо, потому что так делают хорошие жены, потому что если я не встану, то все рухнет, и никто не сварит кофе, и Саша уйдет голодным, и день пойдет наперекосяк, и я буду виновата.

Вздыхаю, отбрасываю одеяло — прохладный воздух касается кожи, и по телу бегут мурашки. Ноги сами находят тапочки, и я иду на кухню, старательно отводя взгляд от зеркала в прихожей — я знаю, что увижу там женщину с опухшими глазами, с седыми прядями, с лицом, которое когда-то

называли красивым, а теперь называют «уставшим». Смотреть на нее нет сил, но и не смотреть — тоже, кажется, нет сил, потому что это же я, и куда мне от себя деться?

На кухне Саша уже сидит за столом, уткнувшись в телефон, и на его лице застыла особая утренняя отстраненность, когда человек еще не проснулся окончательно, но уже погрузился в новости или в рабочие чаты.

— Доброе утро, — говорю я, и мой голос звучит чуть хрипловато, будто я долго молчала.

— Мгм, — отвечает он, не поднимая головы.

Я готовлю кофе, слушая, как булькает вода в чайнике, и этот звук — ровный, успокаивающий — напоминает мне о чем-то далеком, о тех выходных, когда мы с Сашей начинали жить вместе и я училась варить кофе по-турецки, а он смеялся над моими неудачами и говорил, что главное — это любовь, а не пенка. Теперь он пьет растворимый, и я тоже, потому что некогда возиться с туркой, потому что утром каждая минута на счету, потому что мы оба устали и перестали замечать мелочи.

Достаю хлеб, сыр, масло, делаю ему бутерброд — аккуратно, ровно, как делаю уже двадцать лет, — кладу на тарелку, рядом ставлю чашку с черным кофе без сахара, как он любит. И вдруг думаю: если бы я не встала сегодня утром, если бы осталась лежать, он бы, наверное, сам сделал себе бутерброд? Или обиделся? Или ушел бы голодным? Я не знаю. Я вообще перестала понимать, что в нашем браке — привыч-

ка, а что — любовь.

Сажусь напротив, обхватываю свою кружку ладонями, чувствуя тепло, которое проникает в кожу, и смотрю в окно. За стеклом — серое небо, низкое, будто нависшее над крышами. Ветки старого тополя, уже почти голые, и какой-то воробей, прыгающий по карнизу, словно ищет место, где по-теплее. Мне кажется, что и я такой же воробей — прыгаю с ветки на ветку, с дела на дело, а где мое тепло — не помню.

Саша поднимает глаза, отрываясь от телефона:

— Что у нас на ужин?

— Не знаю еще, — мой голос выдает усталость.

— Может, курицу?

— Может быть, — говорю, хотя на самом деле мне все равно, что будет на ужин, потому что есть совершенно не хочется, но надо же кормить семью, надо же что-то готовить, иначе Саша скажет, что я перестала заботиться о доме.

Он снова утыкается в экран, и я допиваю свой кофе — уже второй, потому что первый остыл, пока я возилась с бутербродами. Я чувствую, как горчит на языке, и это ощущение такое привычное, почти родное — горечь утреннего кофе, горечь утренней жизни. И понимаю, что мой вкус давно при-
тупился, я не чувствую вкус еды, не чувствую запах дождя, не чувствую тепло Сашиной руки, когда он случайно касается меня за завтраком. Все стало пресным, будто я живу не своей жизнью, а смотрю фильм, где у героини нет имени.

Где-то внутри, глубоко, начинают шевелиться мысли — о

том, что так больше нельзя, что пора что-то менять, что я не хочу умереть за этим столом с чашкой остывшего кофе. Но мыслям страшно вылезать наружу, потому что они похожи на тех мотыльков, которые бьются о стекло — видят свет, но не знают, как пройти сквозь преграду.

Я смотрю на Сашу, на его поредевшие волосы, на складку на лбу, на то, как он раздраженно листает ленту, и вдруг ловлю себя на чувстве, похожем на жалость — к нему, к себе, к нам обоим, которые когда-то танцевали на кухне под старый плеер, а теперь обмениваются дежурными фразами о курице и интернете.

— Я позвоню маме, — говорю, чтобы хоть что-то сказать.

— Хорошо, — отвечает он, не поднимая головы.

— И в магазин заеду.

— Давай.

Он допивает кофе, встает, чмокает меня в щеку — механически, как робот, — и уходит. Дверь хлопает, и в квартире снова становится тихо. Я остаюсь одна за столом, смотрю на его пустую чашку, на крошки от бутерброда, на свой недопитый кофе, и мне кажется, что я сейчас заплачу — от этой тишины, от этой пустоты, от того, что я даже не помню, какой чай люблю.

Но не плачу. Встаю, иду в ванную, закрываю дверь и долго сижу на краю ванны, слушая, как шумит вода в трубах. Потом включаю горячую воду, раздеваюсь, встаю под душ. Вода стекает по лицу, по плечам, по груди, и я зажимаю

юсь, представляя, что это не вода, а чьи-то ладони — теплые, нежные, которые гладят и успокаивают. Но это, конечно, всего лишь вода. И я одна.

Выхожу, завернутая в полотенце, и прохожу мимо зеркала. В запотевшем стекле мелькает размытое лицо — чужое, усталое, с потухшими глазами. Я останавливаюсь, прижимаю ладонь к холодной поверхности и шепчу, почти беззвучно, чувствуя, как слова обжигают горло:

— Ты здесь?

Никто не отвечает. Лишь капли-слезы стекают по стеклу.

Я вытираюсь, надеваю халат и иду одеваться. И почему-то вспоминаю себя в двадцать пять — как я стояла у зеркала в своем первом съемном жилье, красила губы яркой помадой и улыбалась себе, потому что вся жизнь была впереди, и в той жизни было место и рисункам, и путешествиям, и долгим разговорам до утра, и любви, которая не измерялась списком покупок.

А теперь у меня есть список. Есть кофе. Есть муж, который перестал смотреть на меня. Есть мать, которая обижается, если я не звоню. Есть дочь, которая выросла и не нуждается во мне.

И есть тишина внутри, такая густая и острая, что можно порезаться.

Я сжимаю край полотенца и говорю себе, как заклинание: — Вставай. Надо. Жизнь продолжается.

Я уже не уверена, что это жизнь. И не уверена, что хочу,

чтобы она продолжалась вот так.

Однако я встаю. Потому что надо. Если я не встану, то кто же будет жить за меня эту мою жизнь?

Сцена 2. Список

П



осле того, как за Сашей захлопнулась дверь, в квартире воцаряется особенная тишина, которая бывает в будний день, когда все разбежались по своим делам, и холодильник довольно мурлыкает на кухне, словно старый полусонный кот. Я все еще стою посреди спальни в халате, мокрая голова завернута в полотенце, и мне кажется, что я могла бы простоять так целую вечность — никуда не спешить, ничего не решать, — стоять, чувствуя, как прохладная ткань касается

шеи и как медленно остывают капли на затылке.

Но стоять, конечно, нельзя. Где-то внутри уже завелся этот механизм, который без остановки твердит: «Надо! Надо! Надо!» Он не молчит никогда. Даже когда я сплю, кажется, он продолжает работать на фоне, как вентилятор в старом компьютере.

Я сажусь на край кровати и закрываю глаза, чтобы хоть на минуту отгородиться от этого голоса. Полотенце на голове постепенно становится влажно-прохладным, и я чувствую, как по спине пробегает легкая дрожь — то ли от холода, то ли оттого, что сил вставать совсем не осталось. Внутри такая тяжесть, будто вместо крови у меня по венам течет цемент, и каждое движение дается с усилием. Хочется лечь, уткнуться лицом в подушку и провалиться в сон, где нет ни списков, ни звонков, ни этого бесконечного чувства вины за то, что ты снова чего-то не успела.

Но список, конечно, уже тут как тут. Он не написан на бумаге — он живет в моей голове, как навязчивая мелодия, от которой невозможно избавиться. Я даже не прилагаю усилий, чтобы его вспомнить, он выныривает сам собой, обволакивает сознание, и вот я уже перебираю пункты, как четки, в надежде, что от этого они станут легче.

Позвонить матери — она обидится, если не позвоню до обеда. Сделать презентацию для Ирины, которую я обещала сделать еще вчера. Забрать анализы в поликлинике, потому что у меня уже три месяца высокое давление, а я все от-

кладываю лечение. Купить корм коту — бедный Васька вылизывает пустую миску и смотрит на меня с таким укором, что сердце разрывается. Оплатить интернет, иначе завтра отключат, и Алиса не сможет позвонить по видеосвязи. Купить продукты — хлеб, молоко, яйца, курицу, как просил Саша. Записаться к гинекологу — врач напоминала еще полгода назад. Погладить блузку, которая висит на стуле и ждет уже неделю. Помыть пол в прихожей, потому что Алиса приедет в выходные, и она всегда говорит: «Мам, у тебя вечно бардак». Ответить на сообщение Марине — она звала на свой концерт, а я даже не знаю, смогу ли. Позвонить и спросить про собрание, хотя Алисе уже двадцать один, но привычка осталась. Купить таблетки от давления, потому что старые кончились, и сегодня утром голова кружилась, когда я наклонялась за тапками.

Я открываю глаза и смотрю в потолок. На белой краске — тонкая трещина, похожая на молнию. Я давно хотела позвать мастера, но все как-то недосуг. Впрочем, это тоже можно добавить в список. Еще один пункт. Еще одна галочка в бесконечной череде дел, которые я должна, обязана, не имею права забыть.

Когда-то, в молодости, я вела списки в красивых блокнотах — с цветочками на обложке, с плотной бумагой, на которую приятно было ставить галочки. Я вычеркивала сделанное с чувством легкого удовлетворения, даже гордости. — вот такая я молодец, все успеваю, все контролирую. Теперь у

меня даже блокнота нет. Список живет в телефоне, в заметках среди сотен других заметок — рецептов, паролей, случайных мыслей, которые я так и не перечитала. И я ненавижу этот список. Ненавижу, как он растет, как множатся пункты, как я не успеваю вычеркивать, потому что на месте одной сделанной задачи появляются три новые.

Я встаю с кровати и, шлепая босыми ногами по холодному полу, бреду на кухню. Ноги немеют от линолеума, и это приятное ощущение — хоть что-то реальное, кроме голосов в голове. Наливаю себе опять кофе. Ставлю бутерброд в микроволновку, смотрю, как вращается зеленая тарелка, слышу знакомое жужжание и думаю, что вот так же кручусь и я. Без остановки. Без смысла.

Я вынимаю бутерброд из микроволновки, обжигаю пальцы, но не обращаю внимания. Завтракаю стоя, глядя в окно. За окном — серый ноябрьский день, ветки тополя качаются, и одинокий лист, зацепившийся за тонкую ветку, трепещет, не желая падать. Я смотрю на него, и внутри просыпается что-то похожее на грусть, она какая-то тягучая, как мед, — о том, что когда-то я тоже была вот таким листом, цеплялась за жизнь изо всех сил. А теперь? Теперь я жду, когда меня сдует ветром.

Достаю телефон, открываю заметки. Пальцы сами бегут по экрану — добавляю новый пункт: «Купить подарок на день рождения Нины». Это моя мама. Через две недели у нее день рождения. Если забуду, она не простит. Она вообще не

прощает забывчивости, потому что считает, что если ты любишь, то все помнишь. А я помню, но как-то выборочно — помню, что в 1997 году она не пришла на мой выпускной, но забываю, какой у нее размер обуви.

Смотрю на экран. Семь пунктов. Нет, уже восемь. Кажется, их становится все больше, даже когда я не добавляю новых — они размножаются сами собой, как бактерии в теплой среде. И каждый пункт — это кусочек меня, который я вынимаю и отдаю. Позвонить — значит отдать голос, который мог бы спеть. Погладить — отдать руки, которые когда-то рисовали акварель. Купить — значит отдать время, которое могло бы принадлежать только мне. Помыть окна — значит отдать спину, которая и так уже болит от напряжения.

Я ставлю чашку в мойку и слышу, как звенит фарфор. Этот звук — чистый, высокий — на секунду перекрывает голоса, и я успеваю подумать о том, чего я хочу на самом деле? Не о том, «что надо», а — «что хочу»?

Хочу спать. Хочу, чтобы тело перестало ныть, чтобы плечи расслабились, чтобы этот вечный комок в груди исчез. Хочу, чтобы никто не звонил, не требовал, не спрашивал. Хочу, чтобы в квартире пахло не кофе и не старой пылью, а чем-то другим — морем, например, или сосновым лесом, или чистым бельем, высушенным на ветру. Хочу, чтобы полотенце для волос было теплым, а не влажным, и чтобы я могла сидеть на краю кровати столько, сколько захочется, и никто не сказал бы: «Ты опять ленишься».

Но я не могу. Потому что у меня список, и он ждет.

Я иду в ванную, достаю фен. Включаю его на полную мощность, и горячий воздух ударяет в голову, разгоняя влагу и мысли. В зеркале передо мной — женщина с мокрыми прядями, прилипшими ко лбу, с покрасневшими щеками и затекшими глазами. Она похожа на привидение из старого фильма ужасов. Я смотрю на нее и пытаюсь разглядеть ту Асю, которая когда-то хохотала, не боясь морщин. Но вместо нее вижу уставшее лицо с темными кругами вокруг глаз.

Я выключаю фен. Волосы еще влажные, но мне уже все равно.

Иду в спальню, открываю шкаф. Джинсы, свитер — мятый, потому что я вчера вечером бросила его на стул и не погладила. Сегодня я не буду гладить. Пусть висит, как есть. Надеваю, смотрю в зеркало. Свитер действительно мятый, и под глазами синяки, и волосы торчат в разные стороны. Но я не переодеваюсь. Мне уже не до того.

В прихожей беру сумку, ключи, телефон. На пороге задерживаюсь на секунду, смотрю на входную дверь — старую, с облупившейся краской, которую Саша обещал покрасить еще прошлой весной. Но покрасила, конечно, я. Потому что, если не я, то — никто.

Снова всплывает список. Я машинально достаю телефон и добавляю новый пункт — «купить уют». Наш сломался, и Саша сказал: «Купи новый», — с той легкой интонацией, которая означает: это женское дело, ты разберешься. Я раз-

берусь, конечно. Потому что я умею. Потому что я всегда все умею. Но почему-то не умею одного — просто лечь и не вставать.

Выхожу в подъезд. Дверь за мной захлопывается с глухим стуком, и на секунду мне кажется, что этот звук отрезает меня от дома, от той маленькой безопасной норы, где можно было хотя бы притвориться, что я отдыхаю. Лифт спускается медленно, с легкой дрожью и каким-то заунывным скрипом. Я смотрю на свое отражение в зеркальной стенке — искаженное, вытянутое, неузнаваемое. Мятый свитер. Мокрая голова. Тени под глазами, которые не скрыть даже тональным кремом. И глаза — чужие, потухшие.

Женщина идет на работу. В архитектурное бюро, где она когда-то мечтала создавать прекрасное. Теперь она создает списки. Гладит блузки. Покупает утюги.

Лифт останавливается, двери разъезжаются, и я выхожу на улицу. В лицо дует холодный ветер, пробирается под воротник, заставляет поежиться. Я поднимаю плечи, прячу шею и иду к машине — старой, серой, такой же уставшей, как я. Открываю дверь, сажусь в водительское кресло, прижимаюсь спиной к холодной обивке.

Завожу двигатель. Он урчит, прогревается, и этот ровный звук немного успокаивает. Список все еще в голове, но я делаю музыку погромче — какую-то попсу из радио, чтобы заглушить внутренний голос. Наверное, я позвоню маме по дороге. Наверное, успею заехать в поликлинику. Наверное, все

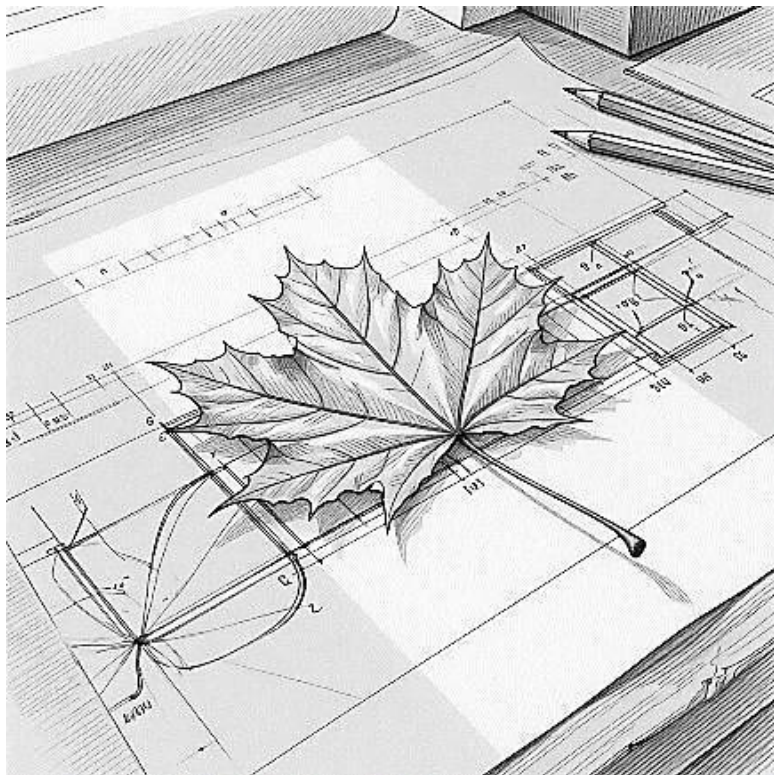
успею, как всегда.

— Ты справишься, — говорю я себе вслух, и голос звучит глухо и неуверенно, совсем не так, как хотелось бы.

И нажимаю на газ.

Сцена 3. Ирина

Я



паркуюсь у своего бюро за десять минут до начала, и когда выхожу из машины, в лицо снова дует этот промозглый ноябрьский ветер. Он, кажется, пробирается прямо под кожу и заставляет меня кутаться в воротник. Наше здание — старая пятиэтажка с облупившимся фасадом — выглядит таким же уставшим, как и я. Почему-то от этого становится немного легче, будто мы с ним заодно, — два старых, потрепанных жизнью существа, которые все еще держатся, хотя давно могли бы рухнуть.

В холле пахнет кофе из автомата и дешевым освежителем воздуха, этот запах за годы въелся в стены, и я уже не замечаю его, но сегодня почему-то он бьет в нос и вызывает легкую тошноту. Я поднимаюсь на третий этаж, здороваюсь с секретаршей — милой девушкой Леной, которая всегда улыбается так широко, будто ее жизнь с детства состоит из одних праздников, — и прохожу в свой кабинет, маленькую комнатку с двумя столами, фикусом на подоконнике и видом на соседнюю парковку. Это мое рабочее место, моя вторая клетка.

Я снимаю пальто, вешаю его на спинку стула и включаю компьютер, а пока он загружается, смотрю на свой стол — кипа бумаг, старые чертежи, чашка с остывшим чаем, которую я забыла унести еще в пятницу. И вдруг, с острой, почти физической болью, я понимаю, что когда-то мечтала о другом. Что в моем кабинете будут висеть наброски и планы удивительных воздушных зданий, что я буду пить кофе и

смотреть в окно, придумывая что-то прекрасное, а не разбирать сметы и чувствовать себя самозванкой, которая боится, что сейчас кто-то зайдет и спросит: «А почему вы здесь? Вы же ничего не умеете».

Компьютер загружается, я проверяю почту и отвечаю на пару писем, но мысли мои далеко — они где-то там, в утренней кухне, в списке дел, в том мятом свитере, который я все-таки надела. Хотя сегодня, между прочим, презентация нового проекта. Мы с Ириной должны показать концепцию заказчику, и я, как старший архитектор, обязана выглядеть прилично. Вместо этого сижу в мятом свитере с невысохшими волосами и чувствую себя студенткой на экзамене, которую вот-вот поймают на незнании.

Ровно в десять в дверь стучат, и, не дожидаясь ответа, в кабинет wpłyвает Ирина — моя молодая коллега, с которой я должна работать в паре. Ей двадцать девять лет. Она сегодня в облегающем платье цвета бордо, с идеальной укладкой и блеском для губ, — выглядит так, будто сошла с обложки глянца, а не пришла в архитектурное бюро, где обычно пахнет пылью и растворителем.

— Ася Сергеевна, доброе утро! — говорит она звонко, и в ее голосе слышится та особенная, немного наигранная бодрость, которая меня всегда раздражает. Я не имею права критиковать — потому что она молодая, потому что у нее все впереди, потому что она, черт возьми, выглядит так, будто выпалась и готова свернуть горы.

— Доброе, — отвечаю я, стараясь, чтобы голос звучал приветливо, хотя внутри все сжимается от какой-то нелепой, детской ревности.

Она садится напротив, кладет на стол ноутбук и открывает презентацию, а я смотрю на ее руки — молодые, с аккуратным маникюром, без морщин и пигментных пятен, — и почему-то вспоминаю свои, — сухие, с выступающими венами, и прячу их под стол.

— Я подготовила концепцию, как вы просили, — говорит Ирина, и ее пальцы бегают по клавишам, выкидывая на экран яркие слайды. — Вот, смотрите, мы предлагаем сделать акцент на панорамном остеклении и зеленых зонах, я набросала три варианта для фасада.

Я смотрю на экран и понимаю, что это действительно неплохо, даже очень неплохо. В Ирине чувствуется свежесть, смелость, та легкость, которую я потеряла где-то по дороге. Она не боится экспериментировать, не боится ошибок, а я уже давно боюсь — боюсь выглядеть глупо, боюсь, что мои идеи устарели, боюсь, что меня уволят, боюсь, что я никому не нужна.

— Хорошо, — говорю я, чувствуя, как во рту пересыхает. — Но здесь нужно добавить больше структурных деталей, потому что заказчик — старый консерватор, и ему важнее надежность, а не красота.

Ирина кивает, делает пометки в блокноте, и я замечаю, как она быстра, как легко схватывает информацию и как не

тратит время на сомнения. Я в ее возрасте была такой же — верила в себя, в свой вкус, в то, что смогу перевернуть мир, — а теперь сижу в мятом свитере и говорю «хорошо» чужим идеям, потому что мои собственные уже не кажутся мне достаточно хорошими.

— Ася Сергеевна, — вдруг говорит она, поднимая глаза, — можно Вас спросить?

— Конечно.

— Вы так долго работаете в профессии... Почему вы до сих пор не начальник отдела? — в ее голосе нет насмешки, это искреннее любопытство. А мне становится больно, как будто она ткнула пальцем в открытую рану.

Я молчу несколько секунд, подбирая слова, и наконец выдавливаю из себя:

— Наверное, потому что я не хотела.

Это неправда. Хотела, очень хотела, но не получилось, потому что надо было растить дочь, потому что мать болела, потому что Саша много работал, и кто-то должен был заниматься домом, и потому что у меня всегда было много «потому что» и мало «почему бы и нет».

Ирина смотрит на меня с легким недоумением, но не настаивает — она, кажется, чувствует, что тема болезненная, и возвращается к презентации. А я сижу и думаю о том, как ей, наверное, легко живется. Она не обвешана обязательствами, не задавлена чувством вины, не боится каждого шага, и ее жизнь — это открытая дорога, а моя — заасфальтированный

двор, где все уже размечено, и некуда свернуть.

— Мы покажем эскизы заказчику в четверг, — говорю я, вставая. — Давайте сегодня после обеда еще раз пройдемся по деталям.

— Хорошо, — отвечает она и, улыбнувшись, выходит из кабинета.

Я остаюсь одна и смотрю в окно на серое небо, ощущая, как в груди разрастается что-то теплое и одновременно горькое — зависть, да, это она, зависть к молодости, к свободе, к той легкости, которой у меня больше нет. А следом за завистью приходит чувство вины и стыд — липкий, гадкий, похожий на грязь под ногтями, — стыдно, что я завижливую, стыдно, что я такая мелочная, стыдно, что вместо того, чтобы радоваться за талантливую девочку, я чувствую себя устаревшей, выброшенной, никому не нужной.

Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, стараясь успокоиться, чувствую, как пахнет принтерными чернилами, слышу, как жужжит компьютер и как за стеной разговаривают по телефону. Обычный офисный день, ничего особенного, но внутри меня что-то надломилось, и я не знаю, как теперь это склеить.

Мысленно я возвращаюсь к списку дел — звонок матери, анализы, корм коту, уют, — и думаю, может быть, если я сделаю все это, станет легче? Может быть, если я куплю тот чертов уют, то перестану завидовать двадцатидевятилетним девочкам в платье цвета бордо?

Я открываю глаза, беру телефон и набираю номер мамы.
— Алло, мам, привет. Как дела?

На том конце провода начинается долгий рассказ о том, что она опять плохо спала, что соседка купила новую шубу и что в поликлинике опять очереди. Я слушаю и киваю, хотя она меня не видит, и чувствую, как усталость снова накрывает меня с головой, она как душная волна.

Я слушаю, потому что я дочь, потому что я должна.

А внутри, где-то глубоко, в тишине, маленький, едва слышный голос шепчет: «А когда ты услышишь себя? Когда ты перестанешь быть всем должна и позволишь себе хотеть»?

Я заглушаю этот голос — у меня нет на него времени, потому что у меня список дел, презентация и жизнь, которую я разучилась чувствовать.

Сцена 4. Мама

Я



набираю номер мамы, все еще сидя за рабочим столом, чувствуя, как под пальцами вибрирует холодный пластик телефона. На экране застыла презентация Ирины с этими яркими, смелыми фасадами, от которых у меня что-то сжимается в груди. Где-то в глубине души я надеюсь, что мама не возьмет трубку — тогда я смогу честно сказать себе, что звонила, и совесть моя будет чиста. Но, конечно, она берет труб-

ку после второго гудка, будто сидела у телефона и ждала.

— Алло, — слышится ее голос, чуть хрипловатый, с той знакомой ноткой недовольства, которая появляется всегда, когда она не знает, кто звонит, но подозревает, что этот кто-то недостаточно часто ее навещает.

— Мам, привет, это я, — говорю, стараясь, чтобы голос звучал бодрее, чем я себя чувствую, но получается как-то вяло, будто слова выходят через силу.

— Ася, — голос матери сразу меняется, становится теплее, но в этой теплоте почему-то проскальзывает что-то требовательное, какая-то невысказанная обида, которая висит в воздухе еще до того, как мы начали разговор. — А я уж думала, ты забыла, как звонить. Третью неделю от тебя ничего нет, кроме сообщений.

Я закрываю глаза и вдруг остро ощущаю, как спина затекла от долгого сидения за столом, как ноют плечи и как где-то между лопаток засел этот вечный комок напряжения, который я обычно даже не замечаю, но сейчас он вдруг становится таким реальным, что хочется выгнуться, размяться, убежать. Вместо этого я делаю глубокий вдох, чувствуя запах остывшего кофе, и говорю:

— Мам, у меня работа, ты же знаешь. Презентация, проекты... Я не могу каждый день звонить.

— А я говорю не про каждый день, — отвечает она с интонацией, которая означает «ты могла бы звонить чаще», и я слышу, как она там на другом конце провода возится с чем-

то — гремит посудой или переставляет тарелки, — и этот звук такой домашний, такой знакомый, что у меня вдруг замирает сердце. — Ты хоть в выходные приедешь? Я одна тут сижу, как сыч, даже поговорить не с кем.

Смотрю в окно на серое небо, на голые ветки тополя, на мелкий дождь, который начал моросить, и понимаю, что совершенно не хочу никуда ехать в эти выходные. Мне хочется лечь на диван, укрыться пледом и смотреть какой-нибудь глупый сериал, чтобы никто меня не трогал, не спрашивал, не требовал. Но я не могу этого сказать, потому что мама обидится, и потом будет неделю молчать в трубку, а потом скажет, что я ее бросила, и я буду чувствовать себя последней эгоисткой, которая забыла мать родную.

— Мам, давай я приеду через выходные, — говорю мягко, почти умоляюще. — На этих у нас с Сашей планы.

— Какие планы? — в ее голосе проскальзывает подозрение. — Опять на дачу поедете?

— Нет, — вру я, потому что никаких планов у нас с Сашей нет, но надо же что-то сказать. — У нас встреча с друзьями.

На самом деле никакой встречи нет, и я уже чувствую, как внутри разрастается знакомое чувство вины, липкое и противное, будто я сделала что-то ужасное, непоправимое никогда, — обманула самого родного человека. Я хотела бы приехать в дом своего детства и юности. Но я не могу. Не могу сидеть на ее кухне, слушать жалобы на здоровье и на соседку, смотреть на ее сухие руки и понимать, что я тоже

стану такой, если не вырвусь из этого круга.

— Ну, смотри, — говорит мама с легкой обидой, и я слышу, как она вздыхает. — Ты же знаешь, мне нелегко одной. Сердце шалит, давление. Вчера думала, вызову скорую, но потом отпустило.

Мое сердце сжимается от страха, хотя я знаю, что это, скорее всего, преувеличение — мама всегда жаловалась на здоровье, даже когда была здорова, это ее способ говорить «обрати на меня внимание». И в голове «стучится» мысль «вдруг у мамы действительно проблемы с сердцем»? Вдруг я пропущу что-то важное, вдруг ей станет плохо, а я не приеду, и это будет на моей совести до конца жизни? Я чувствую, как к горлу подкатывает комок, и на глаза наворачиваются слезы — то ли от усталости, то ли от этой вечной раздвоенности между «надо быть хорошей дочерью» и «хочу побыть свободна».

— Мам, ты вызывала врача? — спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— А какой врач? В нашей поликлинике одни стажеры. Ты лучше приезжай, поможешь мне к кардиологу записаться, — голос ее становится почти жалобным. Я понимаю, что она разыгрывает эту карту не в первый раз, но все равно не могу не реагировать.

— Хорошо, — сдаюсь я, хотя внутри все протестует, и чувствую, как усталость наваливается с новой силой. — В следующие выходные приеду. Обещаю.

— Обещаешь? — переспрашивает она, и в голосе проскальзывает что-то детское, просящее, почти беспомощное.

— Обещаю, — повторяю я, и слово обжигает губы, потому что я не уверена, что смогу сдержать обещание, но сказать правду — значит разочаровать мать, а этого я вынести не могу.

Мы болтаем еще минут пять о том, о сем — о погоде, о том, что Алиса давно не звонила бабушке, о том, что цены опять выросли, — и я слушаю ее вполуха, потому что голова уже заполнена списком дел, и к нему добавился новый пункт: «Поехать к матери через выходные». Я знаю, что эта поездка высосет из меня остатки сил, что я буду сидеть на ее кухне, смотреть в ее усталое лицо и чувствовать, как медленно сгораю изнутри. Но я не могу отказаться. Потому что я дочь. Потому что я должна.

— Ну, ладно, — говорит она наконец. — Не буду тебя отвлекать. Работай. А я пойду, суп согрею.

— Пока, мам, — говорю я, и мы прощаемся, но в трубке еще секунду стоит тишина, будто она ждет, что я скажу что-то важное, то, что никогда не говорю. Я молчу. И она кладет трубку.

Я откладываю телефон на стол и смотрю на него, чувствуя, как в груди что-то тяжелеет. Разговор с матерью всегда оставляет после себя это ощущение — будто я не разговаривала, а таскала мешки с песком, и теперь внутри пустота и боль в пояснице. Я не знаю, почему каждый наш разговор

превращается в испытание, почему я не могу поговорить с ней, как с обычным человеком, а не как с судьей, который оценивает каждое мое слово.

Вспоминаю себя в детстве — как я бежала к матери после школы, чтобы рассказать о пятерке, как она гладила меня по голове и говорила: «Ты моя умница». Теперь я редко слышу от нее эти слова. Теперь она говорит: «Ты не звонишь», «Ты не приезжаешь», «Ты меня забыла». И я не знаю, как сделать так, чтобы она была довольна, потому что, кажется, для этого нужно отказаться от своей жизни и поселиться у нее на диване, слушая бесконечные жалобы.

Я тру ладонями лицо, чувствуя, как кожа горит, и пытаюсь выкинуть этот разговор из головы. Надо работать. Презентация, Ирина, заказчик. Но внутри остается осадок — горький, терпкий, похожий на вкус недозрелой рябины. И маленький, слабый голос шепчет: «Ты имеешь право не хотеть к ней ехать. Ты имеешь право на свою жизнь».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.